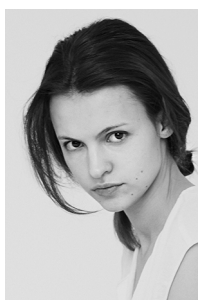


ОТКУДА И КУДА

ПРИДВОРНАЯ МОДА: СТАТУС КАК ОСНОВНОЕ ОЗНАЧАЕМОЕ КОСТЮМА

© 2017

М.В. Гурьянова



Гурьянова Мария Вячеславовна — аспирантка кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В журнале “Человек” опубликовала статью “Мода. Предыстория” (2016, № 1). E-mail: gmarisabel@mail.ru

Мода придворного общества непременно ассоциируется с изысканностью нарядов, роскошью отделки из кружев, шелка, ювелирных украшений, а также с тем, что можно назвать различного рода модными эксцессами, связанными с той или иной властью преобладающей личностью — будь то, к примеру, красные каблуки Людовика XIV или введенная Марией Антуанеттой прическа “а-ля белль пуль” (“à la Belle Poule”)¹. Получая немедленное распространение, та или иная модная новинка в рамках придворного общества оказывается при этом нечто большим, чем выражение прихоти той или иной влиятельной личности [8; 13; 30]. Такая новинка становится инструментом репрезентации властных отношений в общественной иерархии благодаря проявившейся именно в придворном обществе категории статуса как основного означаемого костюма. “Расцвет” последнего в тех или иных странах приходится на различные периоды времени — скажем, в Италии на XV век, а во Франции, которая и будет основным объектом исследования в данной статье, на XVII век.

В становлении статусной семантики костюма в рамках придворного общества важную роль сыграло распространение контрактного типа отношений, проявляющегося при европейских дворах уже с XV века. “В XIV и особенно XV веке происходит существенный сдвиг в социальной жизни, который заключался в развитии системы контрактов” [15]. Особенность этой системы заключается в том, что отношения выстраиваются не с личностью, которая за свою деятельность могла получить вознаграждение в качестве ливреи (принадлежность высокопоставленной особе), а именно с должностью.

Занимая определенную должность, тот или иной индивид получает пенсию и одеяние. «При этом платье, например, глав верховного суда (канцлера и четырех президентов Парламента), в особенности алый цвет мантии и горностаевая опушка, воспроизводило так называемое “королевское одеяние”, от ко-

¹ Прическа названа по имени фрегата “Белль пуль” (“Belle poule”), участвующего на стороне США в войне за независимость (1775–1783).

того короли Франции отказываются (хотя оно никогда не входило в число королевских инсигний) на рубеже XIV—XV веков в правление короля Карла VI, передав его своим главным судебным чиновникам» [17]. В данном случае, с одной стороны, предоставляемое платье воспроизводит присущие ливреи значения, но с другой — репрезентируемые в этом одеянии знаки напрямую не отсылают к конкретной личности, а лишь приблизительно очерчивают атрибуты, связанные в культуре с семантикой власти. Таким образом одежда приобретает новые, не свойственные ей прежде коннотации, выступая в качестве средства выражения делегированных властных полномочий, которые присущи той или иной должности.

Одежда в качестве средства репрезентации общественного положения (а не индивидуальных вкусов Другого в случае одаривания слуг ливреей) появляется с внедрением оптики должностей и общественных функций в социальном поле. Так, манифестация индивидуальных знаков отличия сменяется знаками статуса и общественного положения. Но поскольку «отделение функции от персоны происходит медленно, как если бы бюрократическое поле постоянно разрывалось между династическим (персональным) принципом и юридическим (или безличным)» [1, с. 284], то ливрейное одеяние продолжает сохранять семантику принадлежности, при этом реализуя ее на обезличенной почве должностей. Отправным пунктом здесь становится не личное подчинение, воспроизводящееся через индивидуальные знаки отличия, а иерархия должностей. В основании ее репрезентации лежит манифестация через костюм обезличенных атрибутов власти, которые предполагают обязательное различие с внешним обликом вышестоящих.

Выдвижение на первый план общественной функции обусловлено, по мнению П. Бурдьё [1], становлением бюрократической монархии, которая зародилась в выросших из личных служб короля «администрациях», путем «разделения прежде единого окружения короля на тех, кого вассальный долг обязывает находиться при персоне монарха (принцы крови, пэры Франции, прямые вассалы) и на прежних скромных домашних слуг (*domestici*), ставших профессиональными служителями власти с высоким статусом и широкими прерогативами» [16, с. 67–68]. Именно со служб Дворца начнет свое развитие институт государственного управления, будучи сам порождением обслуживающих персону короля служб.

Несмотря на четкое разделение полномочий Двора (удовлетворение частных нужд короля — его физического тела) и Дворца (управление государственными делами или, другими словами, обеспечение функционирования политического тела короля), «служители Парламента, Палаты счетов и других учреждений именовались «слугами короля», «людьми короля» и, главное, советниками, подчеркивая тем самым генеалогию с вассальной службой и с участием в Королевском совете.



Параллельно с усилением публично-правового характера службы чиновников сами они странным образом подчеркивают личные, аффективные связи с монархом, позиционируя себя как “часть тела короля”, “образ королевского величия”, “представляющих без посредников его персону” и т.д.» [там же, с. 68–69]. Необходимость поддержания такой личной связи с королем показывает, насколько устойчивыми были коннотации служения [4], идущие из Средневековья. Посредством их воспроизведения даже в речи утверждалась легитимность властных полномочий тех или иных должностей. Поэтому и служащим Канцелярии, исполняющим публичные функции, и высшим чинам Парламента предоставлялось ливрейное одеяние, призванное подтвердить связь с монархом, а точнее легитимность их позиции.

Политическое тело короля “является телом, каковое не может быть видимо или ощущаемо в прикосновении, поскольку оно состоит из политики и правления и создано для руководства народом и поддержания общего блага” [5]. На пути формирования бюрократического аппарата, развивавшегося во Франции посредством становления абсолютной монархии, камнем преткновения стал статус бывших феодальных сеньоров. Последний, по сути, нивелировался в XV–XVI веках той самой системой должностей, для соответствия которой надо было зачастую иметь иного рода символический капитал — знание. “Обладая такими специфическими, отвечающими потребностям управления ресурсами, как письмо и право, — пишет Ж. Дюби, — чиновники очень рано обеспечивают себе монополию на наиболее типично государственные ресурсы, тем самым, несомненно, способствуя рационализации власти” [1, с. 278]. Таким образом, на смену символического капитала в виде высокого социального положения, укорененного в знатности происхождения той или иной индивидуальности, постепенно приходит новый тип капитала, определяемый неповторимым сочетанием психологических, умственных и иных особенностей непосредственно индивида.

Процесс нормализации тел [14], сопутствующий процессу становления абсолютной монархии, нивелирует сословный символический капитал и одновременно индивидуализирует занимающих ту или иную должность. Прежде всего это находит выражение во все возрастающей ценности индивидуального символического капитала, характеризующегося невидимостью, которую воплощает собой аристократия (“дворянство есть то, что оно репрезентирует, а буржуазия — то, что она производит” [21, р.13]), а умениями, способностями и т.д. — всем тем, что может быть описано в терминах экономической, или функциональной эффективности. В этой ситуации одежда со своей функциональной направленностью (демонстрация властных полномочий, статуса и должности) и при дворе может восприниматься как своего рода “классовая” униформа, в ко-

торой, по мнению К. Белла, индивидуальный вкус сведен к минимуму [20]. Как и в военной сфере, где с абсолютизмом все активнее вводятся военные униформы [29], при дворе одежда носит практически схожую семантику: *контроль жестов и телодвижений* посредством тех или иных предметов одежды, своей формой диктующих манеры поведения; *коннотации подчинения* — фигуре короля и государственному аппарату; *семантика должностных полномочий*, выражаемая степенью роскоши отделки и тканей.

Нельзя сказать, что тенденция к преобладанию индивидуального символического капитала над сословным стала повсеместным явлением с XIV века, когда постепенно происходит отделение служб “государственного” характера от королевской курии. Тем не менее данное явление уже имело место в связи с потребностью формирующейся абсолютной монархии в уменьении ценности символического капитала для сословного типа “дворянства шпаги”. И в осуществлении данного предприятия не последнюю роль сыграли придворное общество и собственно двор, “отличный от структур Дома [частные службы короны Франции] и Дворца [публичные службы], зарождение которого исследователи уверенно датируют концом XIV века” [16, с. 82].

На смену Двора и Дворца как обслуживающих аппаратов физического и политического тела короля приходит двор, состоящий из людей, порой не задействованных ни в одной из указанных служб, положение которых находится в личной зависимости от благосклонности короля. В новом окружении короля в расчет принимается не индивид, а место, занимаемое им в иерархии, которая строго регламентируется этикетом и церемониалом. При этом двор как прообраз формирующегося политического тела короля (наиболее яркое его воплощение — двор Людовика XIV) испытывает влияние как итальянского двора с подачи Екатерины Медичи, так и испанского — под влиянием Анны Австрийской [18]. И если наследием испанского двора можно считать жесткую структуру церемониала, то итальянского — тот идеал придворного, что в большей степени определяется своими личными заслугами, а не происхождением.

Если в сочинении Б. Кастильоне “Придворный” благородное происхождение еще является залогом присутствующих в индивиде добродетелей, то «уже в “Пире” Данте почти полностью перестает связывать понятия *nobile* [благородный (итал.)] и *nobilita* [благородство (итал.)] с происхождением, а отождествляет их со способностью ко всякого рода нравственным и интеллектуальным совершенствам; особое ударение ставится при этом на высокую образованность, поскольку *nobilita* должна быть сестрой *filosofia* [философии]. <...> В диалоге “О благородстве” Поджо приходит со своими собеседниками к согласию относительно того, что не существует более никакого благородства, кроме связанного с личными заслугами-



ми» [2]. Несмотря на то, что Кастильоне упоминает о заблуждении французов, не расположенных к культивированию интеллекта и нравственности, поскольку в их понимании “образованность не на пользу воинскому искусству” [12], представляется, что взгляд на придворного как идентифицируемого в связи с личными заслугами, а не посредством знаков своего рода и господина отчасти имел место и во Франции. Ведь двор помимо предназначения демонстрировать великолепие короля воспринимался там и как средство преодоления вассальной системы, а следовательно, отчуждения у сеньоров властных полномочий, основанных на знатном происхождении, обусловленных их военными заслугами в Средневековье, в пользу короля, или государства (последние в век Людовика XIV мыслились нераздельно).

Таким образом, новым маркером индивида в социальном пространстве все чаще выступают не происхождение, не знаки отличия яркой индивидуальности (на службе у которой он состоит либо которой сам является), а статус и положение в общественной иерархии. Одновременное отождествление и разделение индивидуальности и занимаемой им социальной позиции связано с замещением знаков личного служения, реализуемых в ливрейной системе, на знаки общественного служения, обусловленные двойным прочтением фигуры короля — как яркой индивидуальности и как государственной машины, основанной на цепочке делегирования и подтверждения властных полномочий по иерархической лестнице.

Обратимся к истории. В Средневековье возможные границы вестиментарной репрезентации (то есть различные знаково-семантические характеристики “публичной” одежды) определялись финансовым положением модного субъекта, средства которого позволяли ему продемонстрировать свой годовой доход: “В 1279 году Филипп III Смелый постановил, что для общего государственного блага высокопоставленным лордам следует иметь не более четырех платьев (мантия, сюрко и котт), отделанных беличьим мехом, если их доход составляет не менее семи тысяч фунтов с земельной ренты в год и не более пяти комплектов, в случае если их доход выше. <...> Squires/Оруженосцы могли иметь только два отделанных мехом комплекта одежды в год, если доход их хозяина был не менее четырех тысяч фунтов в год, пять — если доход таковых выше” [22].

Указ 1549 года при правлении Генриха II, устанавливающий допустимые модные “эксцессы” во внешнем виде того или иного сословия, уже не использует уровень дохода в качестве фактора, определяющего общественное положение [28, р. 379]. А в XVII веке, по мнению Н. Элиаса, соотношение *высокое социальное положение / уровень дохода* становится все более условным в связи с противопоставлением аристократического и буржуазного идеалов [19]. Представители аристократическо-

го сословия имеют право, точнее вынуждены прибегать к различным формам модной репрезентации для подтверждения статуса своего высокого положения, который продолжает быть связан с соответствующим уровнем потребления. Но в рамках придворного общества, направленного на ограничение власти представителей знатного дворянства путем огосударствления земель и замены феодальной ренты на контрактную службу при дворе (при существовавшем “запрете на участие в каких бы то ни было коммерческих предприятиях” [там же, с. 89]), демонстративное потребление, по сути, и является причиной разорения многих знатных домов и, как следствие, исчезновения необходимости в фиксации различий в такого рода постановлениях.

Что касается назначения сумптуарных законов, то на протяжении своего существования они выступали в нескольких ипостасях. В качестве морально-этических директив [11] постановления зачастую носили двойное авторство, то есть провозглашались одновременно от лица церкви и государства — например, указ Урбана V и короля Карла V от 1368 года против обуви пуленов (poulaines) и излишне короткого платья [28, р. 236]. Данное обстоятельство можно интерпретировать как стремление государства путем “поручительства” со стороны церкви утвердиться в роли арбитра, предписывающего формы социального тела индивида в общественном пространстве, тем самым утверждая сумптуарные законы в роли маркера социальных различий. Не менее важную роль играли экономические соображения. Так, в правление Франциска I вышел ряд постановлений о сокращении потребления предметов роскоши иностранного производства: в 1518 году — указ против импорта, продажи и использования всех изысканных шелков (золотой, серебряный драп; бархат; сатин; тафта, вышитая и украшенная золотом или цвета крамуази²); в 1540 — постановление (в качестве смягчения предшествующего указа), разрешающее ввоз таких тканей через Лион с таможенным сбором в 5%; в 1532 — акт, предписывающий отказаться от меха и тяжелых золотых цепей; в 1543 году — декрет, запрещающий использование золотых и серебряных позументов представителями мужского пола [ibid., р. 353–354].

Перечисленные меры, направленные на снижение потребления предметов роскоши, во многом делали последние, по мнению М. Монтеня [10], еще более желанными с точки зрения увеличения индивидуального символического капитала; “дозволенность” подобных предметов способствовала еще большей исключительности и одновременно притягательности позиции власть предержащих. Современное мыслителю изобразительное искусство, демонстрирующее изобилие отделок и предметов туалета, которые были под запретом, лишь подтверждает неэффективность такого рода мер как средств экономической политики.

² Ярко-красный цвет, который позволено было носить только принцам и принцессам крови.



Более результативной попыткой приостановить потребление роскоши оказалась политика Людовика XI. Во время своего правления монарх демонстрировал пренебрежение ко всякого рода украшениям и другим предметам моды, что старался поощрять и внедрять среди подданных как собственным примером, так и путем общественного осуждения и осмеяния модников, стремящихся к приукрашиванию себя. Одного из своих командующих войсками Людовик XI отстранил от должности после того, как тот предстал перед ним в роскошных облачениях, по великолепию превосходящих его собственные, хотя это не представляло большого труда, поскольку, как передает Ф. де Коммин, король “одевался так плохо, что хуже нельзя... в связи с чем его *casaque* [плащ с широкими рукавами] из грубого сукна и его шляпа *à bonne vierge de plomb* [с изображением Девы Марии из свинца] стали легендарными” [28, р. 292–293].

Своим примером Людовик XI задает ту модель отношения к вестиментарным ценностям, которая непременно должна была воспроизводиться в обществе при соблюдении необходимых сословных различий. Последнее предполагает невозможность нижестоящих апеллировать к предметам роскоши, от которых отказался сам король. Известно, что после битвы при Пуатье (1356), когда французский король был взят в плен, до его освобождения остальной части общества было запрещено использовать в своих одеяниях золото, серебро, жемчуг, мех горноста [26]. Подобные меры, очевидно, предпринимались во избежание апроприации предметов, воспринимающихся в качестве атрибутов королевской власти, что подразумевало бы в отсутствие короля претензию на его привилегированное положение. Людовик XI, пренебрегая предметами роскоши описанным образом, способствовал снижению спроса на них среди своих подданных.

Поведение Людовика XI скорее следует трактовать как осознанную внутреннюю политику, а не проявление личной предрасположенности к таким “антимодным” поступкам. Ведь отойдя от трона, он, по утверждению Ф. де Коммина, в своей резиденции Плесси-ле-Тур выказывал изысканный вкус в предметах роскоши, зачастую одаривая ими людей из своего окружения [28, р. 293]. Эффективность политики Людовика XI подтверждается тем фактом, что в его правление гардероб придворных дам был значительно скромнее, нежели у представительниц городской знати [ibid., р. 312]. Данным фактом в определенном смысле подкрепляется мысль М. Монтеня о том, что только путем формирования чувства презрения среди населения к изысканным предметам потребления можно приостановить бесконечный поток модных эксцессов.

Разумеется, нельзя сказать, что благодаря указанной политике придворные дамы стали резко презирать украшения и наряды. Хотя, как известно, во времена Людовика XIV, которому запахи по своей природе были неприятны (это обстоятельство

привело к отказу от парфюма при дворе, а впоследствии и от благоухающих цветов), дамы, издали увидев розы, делали вид, что падают в обморок, вторя таким образом презрению к цветам правителя. Вероятнее всего, данная ситуация демонстрирует механизм формирования в том или ином обществе вестиментарных представлений в качестве образца модели поведения; последний же впоследствии будет тиражироваться среди остального населения, попавшего в орбиту влияния этой личности. В случае Людовика XI его пренебрежение модными канонами стало тем отношением, которое король в связи со своим политическим авторитетом старался сформировать, по крайней мере, в рамках двора, находившегося под его непосредственным влиянием.

Существенной мерой, которую Людовик XI предпринял с целью ограничения оттока средств за рубеж, было создание текстильных производств. Обеспечение предложения на рынке предметов роскоши, производимых национальной экономикой, несомненно способствовало ее укреплению [см.: 28, р. 295, 432; 27].

Представляется, что пример Франции наиболее ярко демонстрирует, как потребность в вестиментарной репрезентации — инструменте и неотъемлемой части осуществления политической власти и проведения различий в общественной иерархии (особенно в придворном обществе) — становится основанием для стимулирования и создания индустрии роскоши. Ведь шелк, вышивка, кружева, позументы из золота, серебра, а также регламентация прав на их тиражирование в одежде есть не что иное, как средство заявить посредством одежды о своем положении в общественной иерархии и претензии на осуществление того или иного объема политической власти. По сути, именно потребности двора в репрезентации своего общественного статуса и из него вытекающего объема властных полномочий создавали тот самый спрос, что наилучшим образом стимулировал индустрию роскоши во Франции. Мода, существующая при дворе, — это признание легитимности общественного положения со стороны монарха, делегирующего часть своих полномочий структуре должностей. Данное обстоятельство во многом объясняет отождествление в XV—XVIII веках феномена “национальной” моды с теми модными веяниями, которые наличествовали при дворе того или иного правителя. Ведь именно внешний облик членов придворного общества в существенной мере характеризует политическое тело монарха и его индивидуальные пристрастия.

Сумптуарные законы, сопутствующие историческому периоду, когда в моде основным значимым было выражение статуса посредством костюма, призваны сохранять иерархические различия между сословиями, манифестируемые через одежду [как, например, вынесенное в 1664 году Людовиком XIV постановление, согласно которому отделка из золота и серебра



ОТКУДА И КУДА



и парча полагались лишь самому королю и принцам королевской семьи, а также на “камзоле королевской привилегии” (“le justaucorps à brevet”), носитель которого определялся монархом, по сути фиксировало данные предметы одежды как атрибуты королевской власти]. В большинстве случаев подобные законы действуют, по мысли М. Монтеня, обратным образом, способствуя распространению “национальной” моды за пределами двора. Роскошные ткани и отделка, будучи воплощением высокого социального положения, становятся объектом желания уже в связи с самим фактом их запрета. “Объект становится желанным только в случае запрета” [9], — пишет В.А. Мазин, комментируя Ж. Лакана.

В основе концепции желания Ж. Лакана лежит стремление признания со стороны Другого, которое находит символическое выражение в языке, придающем желанию материальную форму: “...субъект живет в мире символа, то есть в мире говорящих других. Вот почему его желание может быть опосредовано и признано. Иначе вся человеческая деятельность исчерпывалась бы беспредельным стремлением к уничтожению другого как такового” [7]. Тем самым факт борьбы за признание мыслитель выводит за пределы натуралистической трактовки Г. Гегеля [3] и его интерпретации А. Кожевным [6]. В некоторых аспектах подобная трактовка желания может быть приложима к феномену моды, существовавшему в придворном обществе. Внутри придворного общества одежда представляет собой как раз ту символическую форму, что выражает признание со стороны монарха, легитимировавшего социальный статус той или иной личности. Хотя в ливрейной системе также могут быть обнаружены коннотации стремления к признанию, выраженные в факте ношения знаков отличия идентичности Другого, она по причине личного характера служения, который обозначали знаки отличия на ливрее, не могла быть заимствована третьими лицами — это и делало поле распространения индивидуального вкуса достаточно ограниченным.

В рамках придворного общества, когда индивидуальные знаки служения вытесняются семантикой одежды, представляющей делегированные властные полномочия от той самой фигуры Другого, идентичность которой, по сути, свидетельствует о продолжении ливрейной системы, но в связи с семантикой “двух тел короля” отсылающей уже не к факту личного служения, а к иерархии должностей его политического тела, оказывается возможным выражать в одежде не только сам факт признания со стороны Другого, но также и желание такого признания путем заимствования одежды. Причем последняя уже напрямую не связана с конкретной личностью, в служении у которой следует состоять, чтобы заручиться знаками ее идентичности, а отсылает к социальному статусу, общественному положению, которое может занять любой индивид. Такое положение делает возможным подражание третьими лицами,

стремящимися посредством одежды репрезентировать, возможно, несуществующий социальный статус, где одежда будет выражать именно желание признания со стороны Другого, но не факт такового, как в ливрейной системе.

Такая новая семантика одежды, способствовавшая распространению моды за пределы ливрейной системы, обуславливает рост числа сумптуарных законов, приходившихся в различных странах на период расцвета придворного общества: в Италии это XV век, в Испании и Англии — XVI, во Франции, Венеции и Флоренции — XVII век [24, р. 29]. Поскольку в указанный период сумптуарные законы все больше приобретают роль инструмента сохранения социальных различий и отбрасывают в тень свое назначение в качестве морально-этических директив или экономических мер, их можно рассматривать как “выражение кризиса старого порядка, как попытку дворянства удержать социальную позицию и связанные с ней преимущества, которые становятся все более эфемерными” [ibid., р. 150]. Таким образом, по мнению А. Ханта и других исследователей, сумптуарные законы в большинстве стран получают распространение именно в связи с потребностью дворянства сохранить свое исторически обусловленное привилегированное право на демонстрацию более роскошных облачений по сравнению с другими сословиями, особенно с буржуазией. Последняя благодаря своей коммерческой деятельности (бывшей для аристократии под запретом) занимает в финансовом плане более устойчивое положение, но согласно существующему со Средневековья порядку репрезентации, соответствующему тому или иному сословию, не имеет право заявлять о своих финансовых возможностях посредством одежды.

Известно, что дамы из среды буржуазии (во Франции, по крайней мере) в XV веке имели право демонстрировать свои драгоценности, наряды и другие предметы роскоши, лишь будучи роженицей, чье положение не позволяло ей выходить в свет. Поэтому негласным правилом было устраивать бесконечные приемы гостей и родственников дома, где роженица предстала во всем блеске и великолепии, какое могла себе позволить [28, р. 312]. Таким образом, о своих финансовых возможностях буржуазия могла заявлять только в рамках частного пространства. Общественное поле, особенно в свете сформированной иерархии должностей, было полем репрезентации социального положения, напрямую связанного, как оказалось, не с финансовым положением, а с сословным символическим капиталом.

Приближенное королем дворянство с целью нивелирования его локальных властных полномочий продолжает закреплять свой социальный статус посредством демонстративного расточительства, хотя при существующем в придворном обществе запрете на коммерческую деятельность это сказывалось на транжире все более негативно (настолько, что к концу



ОТКУДА И КУДА



XVIII века “банкротство среди знати стало знаком времени” [ibid., p. 611]. Хрестоматийный пример — случай с герцогом де Ришелье, который выбросил врученный сыну кошелек за окно, обнаружив, что тот сохранил его содержимое вместо того, чтобы потратить, как полагается истинному аристократу. Этот пример как нельзя лучше свидетельствует о той этике, что была присуща аристократическому идеалу, противопоставленному идеалу буржуазному, склонному к накопительству и заботе о прибыли [19, с. 87].

Различие этих двух идеалов, по сути, становится причиной возникновения барьера между общественной и частной сферами. Первая из них, неразрывно связанная с формирующимся в придворном обществе политическим телом, хотя и призвана нивелировать властные полномочия, присущие сословному символическому капиталу, но по той же причине сама есть поле его репрезентации. Даже утренний туалет короля превращается в одну из главных придворных церемоний, посредством которой утверждалось место в иерархии приближенных ему людей и которая во многом основывалась как на сословном символическом капитале, знатности их рода и присущих им титулов, так и на личной благосклонности короля [там же, с. 105–110, 114–115]. Двор, таким образом, будучи всецело общественным явлением (в связи все с той же функцией политического тела короля, которую он воплощал), просто не оставлял место частной сфере.

Само понятие частного в рамках придворного общества оказывается проблематичным — прежде всего потому, что представляет собой пространство именно публичной, общественной репрезентации, которая изначально, со Средневековья, понималась как атрибут статуса власть предержащей фигуры, а не как сфера социальной жизни. «В средневековье публичность репрезентации не была конституирована в качестве социальной реальности, в смысле общественной сферы; скорее это было атрибутом социального положения. Статус манориального сеньора в независимости от занимаемого им уровня был нейтральным по отношению к критериям “публичного” и “частного”; но его социальная позиция репрезентировала его публично... <...> Не существует репрезентации, которая могла быть частной». Репрезентация претендует на то, чтобы сделать невидимое видимым посредством публичного присутствия личности сеньора: “...нечто низшее, не стоящее внимания, не представимое — все, что оказывается недостаточным для обладания общественным статусом, существованием” [21, p. 7].

В обозначенном ракурсе дарение одежд, индивидуальные знаки отличия на различных предметах, оружие, мебель есть средства общественной репрезентации [ibid., p. 8], с помощью которой та или иная личность утверждает свой социальный статус, а причастные к ней индивиды посредством служения

имеют возможность сделаться “видимыми”. Если в феодальном обществе знаками “видимого” были индивидуальные знаки отличия сеньора в системе ливрей, обозначавшие факт признания в рамках служения, то в придворном — таковым становится социальный статус как основная семантическая единица костюма, границы применения которого как раз и задают сумптуарные законы. Постепенное нивелирование последних свидетельствует о все уменьшающейся степени социальной обусловленности модных значений костюма и, как следствие, превращении моды в сферу, все менее подвластную государственному регулированию и правовым директивам власть предержащих. Один из наиболее показательных примеров тщетности такого регулирования — предпринимаемые Людовиком XIV попытки уменьшить размеры прически “фонтаж” (“la fontange”). Став свидетелем желаемого изменения в моде, случившемся в связи с появлением при дворе английской дамы (предположительно мадам Шефстберри), Людовик XIV заявил: “Признаю, что меня это задело, так как считал, что в этой стране только силой моего королевского авторитета можно было уменьшить эти прически. Но вот появляется неизвестная из Англии с маленькой низкой прической; и сразу все принцессы переходят в другую крайность” [28, р. 538].

Тщетность попыток государственного регулирования феномена моды, а также влияния конкретных власть предержащих на ход ее движения стала очевидной уже в первой трети XVIII века. Вместе с тем сформировавшееся в этот период представление о статусе как основном означаемом костюма до сих пор сохраняется в качестве одной из важнейших семантических характеристик костюма [25].

Литература

1. *Бурдые П.* От “королевского дома” к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // *Бурдые П.* Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М.: Ин-т эксперимент. социол.; СПб.: Алетейя, 2007.
2. *Буркхардт Я.* Культура Возрождения в Италии. М.: Юрист, 1996. С. 238–239.
3. *Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 3. Философия духа. М.: Мысль, 1977. С. 242.
4. *Гуревич А.Я.* Исторический синтез и Школа “Анналов”. М.: Индрик, 1983. С. 150.
5. *Канторович Э.Х.* Два тела короля: Исследование по средневековой политической теологии / пер. с англ. А.Ю. Серegiной; под ред. М.А. Бойцова. Изд. 2-е. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. С. 75.
6. *Кожев А.* Введение в чтение Гегеля: Лекции по феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 год в Высшей практической школе / пер. с франц. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2003. С. 16.
7. *Лакан Ж.* Семинары. Кн. I: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). М.: Гнозис; Логос, 1998. С. 227.



8. *Липовецкий Ж.* Империя эфемерного: Мода и ее судьба в современном обществе. М.: Нов. лит. обозрение, 2012.
9. *Мазин В.А.* Введение в Лакана. М.: Фонд науч. исслед. “Прагматика культуры”, 2004. С. 51.
10. *Монтень М.* Опыты. М.: Голос, 1992.
11. *Рибейро Э.* Мода и мораль. М.: Нов. лит. обозрение, 2012.
12. Сочинения великих итальянцев XVI в. Сер. “Библиотека ренессансной культуры”. СПб.: Алетейя, 2002. С. 233.
13. *Тард Г.* Законы подражания. СПб.: Ф. Павленков, 1892.
14. *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
15. *Хачатурян Н.А.* К вопросу о природе французской сословной монархии // Средние века. М.: Наука, 1978. Вып. 42. С. 38.
16. *Цатурова С.К.* Долгий путь к Версалию: Трансформация французского двора в XIII–XV веках // Французский ежегодник 2014: Жизнь двора во Франции от Карла Великого до Людовика XIV / под ред. А.В. Чудинова и Ю.П. Крыловой. М.: ИВИ РАН, 2014.
17. *Цатурова С.К.* Священная миссия короля-судии, ее вершители и их статус во Франции XIV–XV веков // Священное тело короля: Ритуалы и мифология власти. М.: Наука, 2006. С. 86.
18. *Шишкин В.В.* Королевский двор и политическая борьба во Франции в XVI–XVII веках. СПб.: Евразия, 2004.
19. *Элиас Н.* Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии, с Введением: Социология и история. М.: Языки славян. культуры, 2002.
20. *Bell Q.* On Human Finery: The Classic Study of Fashion Through the Ages. L.: Allison & Busby, 1992. P. 181.
21. *Habermas J.* The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Mas.: The MIT Press, 1989.
22. *Heller S.-G.* Fashion in Medieval France. Cambridge: D.S. Brewer, 2007. P. 65.
23. Heraldry, pageantry, and social display in medieval England / eds. Cross P., Keen M. Woodbridge: The Boydell Press, 2002.
24. *Hunt A.* Governance of the Consuming Passions: A History of Sumptuary Law. N.Y.: St. Martin’s Press, 1996.
25. *Lurie A.* The language of clothes. N.Y.: Henry Holt and Co, 2000. P. 13.
26. *Newton S.M.* Fashion in the Age of the Black Prince: A study of the years 1340–1365. Woodbridge: Boydell, 1980. P. 53.
27. *Pernot F.* Les routes de la soie. P.: Artemis Editions, 2007. P. 158–159.
28. *Quicherat J.* Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. P.: Hachette, 1877.
29. *Roche D.* La culture des apparences: Une histoire du vêtement (XVIIe–XVIIIe siècles). P.: Librairie Arthème Fayard, 1989. P. 215–244.
30. *Spencer H.* The principles of sociology: in 3 vol. Vol. 2. N.Y.: D. Appleton and company, 1898.